

РОССИЙСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ



Редакционная коллегия серии:

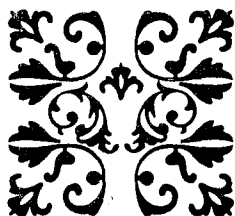
*А. О. Бороноев (ответственный редактор серии),
И. А. Голосенко, В. В. Козловский*

Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ

**ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
ПО СОЦИОЛОГИИ
в двух томах**

Издательство
«Алетейя»
Санкт-Петербург
1998

Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ



ГЕРОИ И ТОЛПА

**ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ ПО СОЦИОЛОГИИ
в двух томах**

Том второй

Ответственный редактор В. В. Козловский

Научное издание

Издательство
«Алетейя»
Санкт-Петербург
1998



БОРЬБА ЗА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

(Социологический очерк)

*І. ВВЕДЕНИЕ **

Когда какая-нибудь крепость, занятая карлистским отрядом, осаждается войсками признанного испанского правительства и затем, после долгих переговоров, вылазок и стычек, благополучно увеличивает собой владения короля Альфонса, то, несмотря на все ничтожество этого ряда событий даже для самой Испании, русские газеты следят за ним изо дня в день. Такое участие к судьбам испанской крепости, оспариваемой Альфонсом у Карлоса или обратно, объясняется как собственными вкусами русских газет, так и спросом со стороны читающей публики. Тем или другим способом общество, если бы пожелало, могло бы произвести известное давление на периодическую печать и вытребовать у нее более или менее аккуратное сообщение сведений более важных, хотя бы для этого пришлось отодвинуть на задний план распрю короля Альфонса с доном Карлосом. Трудно, конечно, допустить, чтобы русское общество принимало так уж близко к сердцу судьбу разных испанских крепостей. Надо думать, что газеты в этом случае несколько пересаливают. Но, вообще говоря, наша читающая публика, как, впрочем, и многие другие читающие публики, очень любознательна насчет внешних политических событий, вроде перемены династий, взятия крепостей, многознаменательных слов, сказанных Мак-Магоном на смотре, и т. п. Да не подумает читатель, чтобы я хотел угостить его лекцией на ту тему, что в истории человечества внешние политические события составляют только ничтожную, хотя и бросающуюся в глаза верхнюю пленку, под которой в изменениях нравов, в приращении знаний, в развитии экономических отношений кипит настоящая, хотя и не видная

* 1875 год, октябрь.

история. Лекция эта читается, начиная с прошлого столетия, таким количеством людей и нередко людьми таких высоких умственных качеств, что если читатель все-таки устремляет свою любознательность на вопрос о командовании карлистскими войсками Доррегарам, так, значит, есть тому причины, с которыми лекцией о сути истории ничего не поделаешь. Быть может, все читавшие и читающие подобные лекции поступали бы целесообразнее, если бы постарались самым изложением сути истории заинтересовать свою аудиторию и сосредоточить ее любознательность на том, что действительно заслуживает внимания. Разумеется, я и такой претензии не имею и весь этот разговор завел только потому, что в русские газеты недавно случайно проскользнуло известие, имеющее несомненную связь с сутью истории. Не ручаемся, однако, чтобы читатель сразу признал его таковым.

Дело в том, что недавно в Реймсе происходил конгресс католических рабочих ассоциаций, на который прибыли делегации из Англии, Швейцарии, Бельгии и Италии. Цель этого конгресса состоит в учреждении клубов для солдат и рабочих и проч., а также в учреждении мастерских для обучения ремеслам сирот и детей бедных родителей. Один из ораторов, иезуитский патер Маркиньи, произнес длинную речь в пользу восстановления торговых гильдий в том виде, как они существовали при Людовике Святом. Слушатели с жаром рукоплескали этой речи, «исполненной сострадания, по выражению одной ультрамонтанской газеты, к судьбе злополучных ремесленников, у которых революция отняла все их гарантии». Конгресс принял резолюцию об организации католических обществ, в которые входили бы все классы рабочих и которые управлялись бы подобно ремесленным цехам, и о приглашении всех христианских нанимателей к составлению из себя обществ для поощрения рабочих своей моральной поддержкой. Рабочие же общества должны находиться под покровительством дам. Словом, предполагается восстановление старинных цехов и возрождение христианской семьи среди рабочих классов. Граф де ла-Тур-дю-Пэн прочел отчет о развитии католических рабочих клубов. При окончании франко-германской войны во Франции существовал всего один такой клуб — в Париже, между тем как в настоящее время они заведены уже во многих городах и селениях. Католики надеются, что это движение будет способствовать примирению капитала с трудом. Само собой разумеется, что члены этого съезда выразили письменно свое согласие с силлабусом.

На наш взгляд, это известие заслуживает несравненно большего внимания, чем судьбы альфонсистской или карлистской Испании, хотя на реймском конгрессе никто не размахивал шпагой, никто не

осаждал крепостей и не сдавался на капитуляцию. Тот или другой Карлос уже много раз оспаривал испанский трон у того или другого Альфонса и будет, может быть, еще много раз оспаривать, вследствие чего будет повторяться и тот звон оружия, и та пушечная пальба, которыми ныне полна Испания. Нельзя того же сказать о вздохах по средневековым цехам, раздававшихся на реймском конгрессе. Во всяком случае, если только читатель остановит свое внимание на приведенном факте, он найдет в нем много поучительного и даже поразительного. В самом деле, разве не связались в нашем уме неразрывными узами понятия о европейском рабочем и о революции? — а вот на конгрессе рабочих ассоциаций говорится, что революция отняла у рабочих все их гарантии. Разве не представляется вам рабочее движение чем-то враждебным религии и церкви? — а вот на конгрессе представители католической церкви принимают движение под свое покровительство. Скажут, может быть, что реймский конгресс есть явление исключительное. Другие скажут, что он есть результат происков католической партии, ищущей себе в рабочих массах опоры для борьбы с государственной, светской властью. И те и другие будут отчасти справедливы, но только отчасти. Что клерикалы ищут себе опоры в рабочих — это верно. Но это явление уже само по себе глубоко знаменательное. Среди многочисленных экономических партий, существующих ныне в Германии, очень любопытна хорошо организованная группа, считающая в числе своих членов многих высокопоставленных католических духовных лиц и открыто называющаяся *christlichsoziale Partei*. Как бы ни было близко происхождение и развитие этой партии к «культур-кампу», возгоревшемуся в Германии недавно, следует, однако, заметить, что, например, епископ фон Кеттелер выражал свои мнения еще во времена агитации Лассалья, когда герой «культурной борьбы», Бисмарк, и не помышлял об этой борьбе. Что касается реймского конгресса, то мы сами готовы признать его в некоторых отношениях явлением исключительным. Но он все-таки есть одно из знамений времени и получает немаловажное значение в ряду других фактов. Возьмите, например, этот вздох по гильдиям времен Людовика Святого. Положим, что он вырвался из груди иезуита, но ведь словам иезуита аплодировали депутаты рабочих ассоциаций. И налицо есть факты почище аплодисментов. Кто читал книгу Торнтона «Труд» и хоть, например, первый том истории первой революции Луи Блана, того должно было поразить многостороннее сходство английских рабочих союзов со средневековыми цехами и корпорациями, разумеется — минус католические орнаменты, о которых собственно и вздыхают люди вроде иезуита Маркиньи.

Вот некоторые из фактов, рассказываемых Торнтоном. Некоторые союзы делают окружающую их страну на округа и не позволяют употреблять произведения подведомственных им отраслей промышленности иначе как в том округе, в котором они выработаны. В большей части Ланкашира кирпичники и каменщики находятся в оборонительном и наступательном союзе, и, вследствие этого, в известных произвольно намеченных границах может употребляться только кирпич местного производства. Например, ни один кирпич, сделанный далее чем в четырех милях от Манчестера, не может проникнуть в город. Каждый воз кирпича при въезде в Манчестер осматривается особыми агентами союза каменщиков, и, если они найдут, что кирпич из «запрещенной» местности, весь союз тотчас же отказывается от работы. Границей манчестерского союза каменщиков признается канал, протекающий в четырех милях от Манчестера и в двух от Аштона. Какое бы изобилие кирпича ни было на аштонском берегу канала, оно ничем не отзовется на Манчестере. Это чисто средневековая система внутренних застав, запрещений, монополий и непроходимых пропастей между различными местностями и различными отраслями производства достигает иногда в практике рабочих союзов крайних пределов смешного. Например, в Болтане несколько каменщиков, проходя мимо конторы Дэя и слыша там стук каменной работы, вошли и увидели, что плотник вбивал в стену балки, а так как оставленные для них в стене отверстия оказались слишком малы, то ему пришлось несколько увеличить их. Каменщики тотчас донесли об этом союзу, и тот оштрафовал Дэя на 2 ф. ст. за то, что он дозволил плотнику произвести каменную работу. В Ашtone Джордж Кольбек послал столяра и каменщика переделать в доме дверь и передвинуть ее на аршин в сторону. Каменщик уже почти кончил свою работу, когда заметил, что столяр, чтобы не сидеть сложа руки, стал помогать ему, т. е. выбивал кирпичи на том месте, где надо было устроить дверь. Каменщик тотчас же бросил работу и ушел, а союз каменщиков штрафовал Кольбека на 2 ф. ст. За что? — спрашивал он. «За то, — отвечал союз, — что вы нарушили правило, позволив плотнику выламывать кирпичи, это — дело каменщиков, и потому, если вы не заплатите штрафа, то все каменные работы у вас прекратятся». В другом месте подрядчик был оштрафован на 5 ф. ст. за то, что он, прождав своих каменщиков пять дней, поручил, наконец, печникам расширить окно на несколько вершков. Конторщик одного подрядчика в Блакпуле заметил однажды, измеряя какую-то работу, что на его мерке стерлись подразделения, знаки футов и дюймов. Он взял краски и возобновил знаки. В тот же день его хозяин получил от союза маляров письмо, в котором его очень учтиво просили

запретить конторщику исполнять малярную работу, так как он не маляр.

Не напоминает ли все это те далекие и, казалось, совсем стертые революцией времена, когда букинисты и книгопродавцы вели постоянные споры из-за того, что такое старая и что такое новая книга, когда подобным же образом портные и продавцы старого платья препирались три века сряду? Если бы мы имели в виду параллель между рабочими союзами (распространяющимися ныне и в Германии) и средневековыми цехами, мы могли бы указать и многие другие поразительно сходные черты этих двух явлений. Но настроение рабочих масс в Европе, как ни соблазнительна эта тема, не входит в программу предлагаемой статьи. Настроение это отнюдь не исчерпывается обычаями английских Trades-unions. Мы указываем мимоходом на эту сторону дела только потому, что указание это нужно ввиду нашей специальной цели.

Нечто соответствующее речам и резолюциям реймского конгресса и практике английских рабочих союзов имеет место и в науке.

Показав, как самый рост капитала вызывает относительный избыток рабочего населения, Маркс замечает: «Таков закон народонаселения, свойственный капиталистическому способу производства; каждому особенному, исторически определенному способу производства соответствует особенный исторически определенный закон народонаселения. Абстрактные законы размножения существуют только для растений и животных» (*Das Kapital*, 1867, 617). Конечно, это недоверие к существованию общих и абстрактных социологических законов (в основании своем вполне соответствующее философско-историческому мировоззрению Маркса) может показаться несколько преувеличенным. Но, во всяком случае, приведенные слова заключают в себе весьма важное указание. Социологи вообще, а экономисты в особенности, склонны к расширению значения тех общественных форм, среди которых им приходится жить, учиться и учить. Вращаясь в известной исторически определенной форме общественных отношений, люди, занимающиеся изучением общественных вопросов, слишком часто поднимают выводы из своих более или менее узких наблюдений на степень непреложных общих законов. А затем в некоторых случаях, благодаря удачной систематизации и другим условиям, логическим и политическим, эти выводы с навешанным на них ярлыком непреложности расходятся по белу свету и принимаются с распростертыми объятьями даже там, где они вовсе не имеют под собой исторической почвы. Таковы, например, некоторые идеи римского права, таковы экономические законы, установленные английской школой, покорившие себе, конечно, временно, чуть не весь

цивилизированный мир. Оставляя в стороне практические следствия такого ненормального порядка вещей, нетрудно видеть, как вредно должен он отзываться даже на интересах чистой науки. Ни абстрактная, ни конкретная социология, очевидно, не могут быть построены удовлетворительно, если круг наблюдений социолога ограничивается конституционной монархией, фабрикой, денежным и торговым рынком да акционерным обществом. А эти формы кооперации (слово это мы разумеем в самом широком смысле) до последнего времени почти исключительно поглощали внимание исследователей. Относительно всех других форм общественных отношений как бы существовало безмолвное соглашение, что они не только неудовлетворительны или отстали, но даже не заслуживают внимания. Их третировали свысока, редко даже удостоивая презрительного замечания, что ничего не может быть путного из Назарета. Это было совершенно понятно и извинительно в медовые месяцы века просвещения и принципов 89 года. Тогда люди были полны такой цельной веры, что ключ к замку человеческого счастья найден, что все их увлечения должны быть им прощены, как простились грехи Магдалины. Но с тех пор утекло много воды. Англия, вдохновлявшая век просвещения своей конституционной системой и промышленным строем, утратила свое обаяние. Она оказалась страной противоречий, в которой чего хочешь, того и просишь, и которая, именно в силу этого, никого вполне удовлетворить не может. Мало того. Под пером некоторых, часто блестящих талантов Англия обратилась как бы в илота, которого история, в поучение другим народам, допьяна напоила дурными соками цивилизации. Знаменитые принципы 89 года независимо от присущих им самим недостатков, распространяясь географически, вместе с тем разжижались. С грехом пополам амальгамировали они попадавшие им на пути распространения весьма разнохарактерные элементы. И этой-то странной амальгаме, лишенной всякой цельности и не возбуждавшей ничьего искреннего энтузиазма, который многое искупает, суждено было сосредоточить на себе внимание людей, изучающих явление общественной жизни. Были у этой амальгамы апологеты, которые бесспорно выяснили многое в современной жизни, но которые вместе с тем самым бессмысленным образом топтали всякий научный интерес и к отжившим, и к отживающим, и к вновь нарождающимся формам кооперации, ко всему, что утратило или еще получило права гражданства в странной амальгаме. Едва ли не больше всех старались и уж, конечно, больше всех успели в этом направлении экономисты. Политическая экономия построена на том предположении, что абсолютный, единственный двигатель человека есть стремление к наживе, к богатству, стремление взять со

своего соседа как можно больше и дать ему в обмен как можно меньше. Адам Смит очень хорошо понимал односторонность своего экономического учения и потому поставил рядом с ним «Теорию нравственных чувств», где человек оказывается действующим столь же исключительно под влиянием «симпатии». Смит нигде не говорит, как вяжутся между собой эти его две противоположные доктрины, но, очевидно, что он просто для удобства исследования уединил в одном случае голый эгоизм, в другом — симпатию. Вернейший из его учеников, Дж. Ст. Милль, вполне усвоил себе этот ход мысли учителя. Он прямо указал, что истины, добытые политической экономией, имеют весьма условный характер, так как в основании ее лежит не реальный, а гипотетический человек (Система логики, II, 479). Однако далеко не все экономисты поняли истинный характер и действительные пределы своей науки, в чем, впрочем, им помогали некоторые побочные обстоятельства. Во-первых, реальный человек, входивший в круг наблюдений экономистов, человек биржи, лавки, фабрики, акционерного общества, оказался действительно очень похожим на гипотетического человека науки Смита и Милля. Он действительно управлялся в своих действиях исключительно желанием получить как можно больше с соседа и дать ему в обмен как можно меньше. Отсюда понятно заключение экономистов, что такова природа человека вообще, — заключение, к которому они, однако, отнюдь не могли бы прийти, если бы круг их наблюдений и исследований был шире. Далее: из всего цикла общественных наук политическая экономия даже в своем изуродованном виде все-таки более других имела прав на звание науки; все-таки она была больше наука, чем юриспруденция, история, политика, этика. Это естественно вело к искушению отождествлять политическую экономию с социологией. Таким образом, все способствовало незаконному расширению значения науки, получившей толчок от Адама Смита. Экономисты не задумались сказать об объекте своих исследований: *esse homo!* тогда как это был только человек биржи, лавки и фабрики. Они притянули себе на помощь утилитаризм, между тем как эта доктрина, правильно понятая, утверждает только одно: человек стремится к личному счастью, — вовсе не предreshая, в чем будет состоять личное счастье человека в том или другом частном случае. И удивительно, с каким упорством держались экономисты этой странной иллюзии, потому что фактов, уничтожающих ее, было всегда налицо достаточно, даже слишком достаточно. Факты вроде прусско-французской и затем парижско-версальской кровавой распри, казалось бы, очень ясно говорят, что люди — не только существа возделывающие, поедающие, купующие и куплюдеющие. Были у экономистов противники. Они

опять-таки многое уяснили в современной жизни, но их деятельность была, главным образом, отрицательная. Они стремились уничтожить здание, возводимое экономистами, а это обязывало их опять-таки сосредоточивать свое внимание на бирже, лавке и фабрике. Но там они встречали воочию ненавистного им гипотетического человека науки Смита, торопились уйти от него в область фантазии, противопоставляли ему продукты своего личного творчества — человека Утопии, Икарии, Фаланстера.

Мы не имеем в виду практических целей экономистов и их противников, не думаем разбирать, в какой мере достигались эти цели трудами тех и других. Не касаемся мы также их заслуг в науке вообще. Мы констатируем только факт узкости круга наблюдений социологов, факт отсутствия той весьма важной отрасли науки, которую некоторые писатели предлагают называть общественной морфологией, т. е. учением о формах кооперации (*Schäffle. Kapitalismus und Socialismus. 1879, S. 430. Введен. Строй экономических предприятий. 1873*). Было бы смешно и нелепо желать, чтобы фабрика, биржа, лавка остались вне контроля науки, но пора, кажется, подумать, что на них свет не клином сошелся, что даже и они могут быть плодотворно изучаемы только с точки зрения, отправляющейся от наблюдений и исследований более широких. В этом отношении в Европе за последнее время замечается весьма любопытное движение. Время Утопий, Икарий миновало уже давно, уступив место направлению, более практическому и менее связанному с личным творчеством. Но и об экономистах нельзя уже скоро будет повторить остроту одного немецкого писателя: купите себе скворца, научите его трем словам: Tausch (обмен) Tausch, Tausch! и у вас будет прекрасный политикозконом.

Если мы пожертвуем второстепенными оттенками, то нынешние направления экономической науки могут быть подведены под три рубрики.

Во-первых, так называемые фритрэдеры, или манчестерцы. Это — то самое направление, которое приняло гипотетического человека Смита за человека действительного. Основной догмат его есть свободное движение личных интересов, долженствующее само собой привести все к наилучшему концу. Эти люди проникнуты практической стороной смитовской науки, но более или менее недовольны ее теоретической и в особенности методологической частью. Она для них слишком абстрактна и гипотетична. Это направление все более и более затирается другими и насчитывает очень мало чистых представителей.

Во-вторых, — школа Маркса (разумея последнего исключительно как научного деятеля). Расходясь с так называемой классической,

смитовской школой в практических тенденциях, Маркс вполне усвоил ее гипотетический характер и логические приемы исследования. Он только строже и последовательнее Смита и Рикардо проводит их собственные приемы, благодаря чему приходит к новым заключениям. Обливая, например, всем своим обильным запасом желчной брани практические тенденции Мальтуса и мальтузианцев, Маркс не отвергает, однако, оснований знаменитого закона народонаселения. Напротив, новыми и совершенно неожиданными аргументами он доказывает, что этот закон в основании своем верен, но только для известной, исторически определенной комбинации условий, а не обязательен для всех времен и мест. Несмотря на всю свою тенденциозность, Маркс не вводит в теоретическую часть своих исследований никаких этических нравственных моментов. Он твердо стоит на абстрактной почве гипотетического человека науки Смита, но вместе с тем твердо помнит, что это — человек гипотетический, условный, так сказать, выдуманный для удобства исследования.

Направление третьей группы современных экономистов может быть названо этическим. Название это присвоено собственно так называемому «профессорскому социализму» (*Kathedersocialismus*), но под него подходят и многие другие, взаимно борющиеся и часто очень нетерпимо друг к другу относящиеся оттенки образа мыслей. Всем им обще стремление ввести в науку тот нравственный элемент, который устраняется из политической экономии одними сознательно и условно, в силу требований научного удобства, и другими бессознательно и безусловно, благодаря смещению абстракта с действительностью. Как именно должен быть введен этот элемент в науку и какую он должен играть в ней роль — об этом происходят очень горячие препирательства. При этом одни не выказывают ничего, кроме благородного негодования против эгоизма как основы экономической науки, а другими рядом с сочувствием к известным нравственным идеалам обнаруживается более или менее сильная логическая способность. Дальнейшие различия обуславливаются разницей политических тенденций. В своей критике классической науки представители этического направления говорят: если бы люди были действительно таковы, каковыми их предполагает манчестерская теория, т. е. если бы они были равны по способности и желанию преследовать свои экономические цели — тогда, конечно, борьба этих личных сил привела бы к наилучшему результату, и оставалось бы только любоваться, как среди полной свободы каждая сила займет естественно принадлежащее ей место. Но люди манчестерской теории не суть действительные люди: они сочинены, выдуманы ради отвлеченных требований науки. И мы видим, что в действительности,

во-первых, промышленная свобода не дает тех благодатных результатов, какие от нее ожидалось, и что, во-вторых, на почве свободной конкуренции сами собой возникали и возникают рабочие союзы и другие попытки так организовать общественную волю, чтобы слабые силы и малые экономические способности находили себе гарантию от убийственного влияния конкуренции. Кто должен на себя взять обязанность такой гарантии, государство ли, церковь ли, собственные ли организации рабочих, это — опять исходный пункт множества разногласий.

Не входя в оценку различных направлений экономической науки, мы отметим только два крайне любопытных явления, представляющих, впрочем, собственно говоря, только две стороны одного и того же явления. Мы видим, во-первых, поразительно быстрый рост недоверия к принципам формальной свободы и личного интереса, как гарантий всеобщего благосостояния, поразительно быстрое падение доктрин, строящих здание общества на этих двух столбах. Падение это до такой степени очевидно и до такой степени законно, что разные иезуиты начинают уже эксплуатировать его с целью восстановления исторически и нравственно отживших учреждений со всеми их решительно не укладывающимися в современную жизнь сторонами. Но не одни иезуиты с упованием смотрят назад. Сами рабочие, как мы видели, по собственному почину восстанавливают чисто средневековые учреждения, тяжелым гнетом лежащие на них, добровольно надевают на себя ярмо. Им вторит и наука, как вторила она в свое время идеям буржуазии. В этом обращении назад, к средним векам, а то так и к еще более глубокой древности, заключается вторая любопытная сторона современного движения в науке. И Маркс, и представители этического направления весьма терпимо относятся к некоторым формам средневековой общественности, до такой степени терпимо, что подобное отношение было бы решительно немислимо еще очень недавно. Этого мало. Дело не в простой терпимости. Документы о старых, отживших формах общественности вытаскиваются из архивной пыли; формы отживающие рекомендуется беречь, хотя бы для того, чтобы успеть подвергнуть их анализу и наблюдению. Словом, упоение настоящим сменяется настроением, которое можно бы было назвать социологическим романтизмом, если бы наряду со старыми не возбуждали интереса и некоторые новые формы общественных отношений, если бы дело шло о простой идеализации старого, а не об изучении и применении его к новым потребностям. И удивительно, как освежающе-реформаторски действует на науку это расширение поля наблюдений. Маурер, Нассе, Мэн, Брентано, Лавеле пожали обильную жатву.

Молодой немецкий профессор Луйо Brentano был приглашен в 1867 году директором статистического бюро в Берлине, Энгелем, сопутствовать ему в поездке по фабричным округам Англии с научной целью. Поехал Brentano, как он сам рассказывает (*Die Arbeitergilden der Gegenwart*), полный веры в догматы школьной политической экономии. «Да и кто бы, — говорит он, — устоял *a priori* перед учением, которое, не требуя никакого вмешательства, разрешает к всеобщему удовлетворению все затруднения экономической и социальной жизни простой игрой разнuzданных личных интересов». Английские *Trades-unions* Brentano глубоко презирал. Они представлялись ему печальным анахронизмом, явлением диким и не имеющим никакой будущности. Мысли эти он даже изложил перед своим отъездом в печати. Поездку предполагалось ограничить всего двумя месяцами. Но вместо того, увлеченный работой, открывшей ему совершенно новые и неожиданные перспективы, Brentano пробыл в Англии почти два года, причем совершенно изменились его взгляды и на рабочие союзы, и на науку. Он не ограничился изучением непосредственно перед ним стоявшего живого явления — рабочих союзов. Пораженный сходством некоторых подробностей их уставов с порядками, господствовавшими в средневековых гильдиях и цехах, он задал себе ряд вопросов: нет ли между этими двумя явлениями какого-нибудь преемства? не представляют ли они фактов однородных, необходимо являющихся при известных исторических условиях? Если да, то в чем состоит этот, так сказать, спрос истории на подобного рода союзы? Наблюдения над организацией и деятельностью рабочих союзов, в связи с исследованием исторических документов, относящихся к древним гильдиям, убедили Brentano, что существует особый социологический или, пожалуй, экономический закон, в силу которого издревле возникали союзы с теми же целями и даже с той же приблизительно организацией, какими характеризуются нынешние *Trades-unions*. Человек освежился, получил новые понятия о пределах и методах своей науки. На цеховую систему он получил возможность взглянуть не только с той, всем известной стороны, что она тормозит успехи производства и стесняет свободу промышленности, а еще с той, что она известным образом гарантировала рабочего от превратностей судьбы. Другим примером такого освежения может служить книга бельгийского экономиста Лавеле «Первобытная собственность». Русскому читателю известно или, по крайней мере, должно было быть известно, что Лавеле оценил поземельную общину, «первобытную собственность», не только с точки зрения ее роли в производстве богатств (роли, по его мнению, в принципе весьма благотворной), а и с точки зрения гарантий, предоставляемых ею

мелким собственникам. С этой-то точки зрения, еще недавно не имевшей в науке ни малейшего значения, Лавеле даже с некоторой сентиментальностью отзывается об исчезнувшей в старой Европе общине, а к новым народам обращается с таким восклицанием: «Граждане Америки и Австралии, не усваивайте себе того узкого, сурового права, которое мы заимствовали из Рима и которое может привести нас к экономической борьбе. Возвратитесь к первобытному преданию ваших предков».

Ввиду подобных фактов, число которых растет с каждым днем, мыслящим человеком может овладеть самое серьезное недоумение. Глас народа — глас Божий, говорит пословица. Если и в массах, и в интеллигенции замечается известное тяготение к прошлому, так какой уж тут Альфонс и какой Карлос могут нас интересовать? Даже католическая реакция, как и реакция прусская, ничтожны перед этой невидной, нешумной, но тем более поразительной реакцией.

«Я и не я» — такова формула мира, выставленная немецкой метафизикой. На одной чашке весов я, такой-то, а на другой — все остальное, — т. е. и дом моего соседа, и жена его, и вол его, и осел его, и агония умирающего, и первый писк младенца, и желтая выжженная скатерть Сахары, и глубь океана, и вершины Альп, и бесконечные миры планет со всем, что на них живет, мыслит, чувствует. Более дерзкая идея никогда не высказывалась человеческим языком, да ничего более дерзкого и придумать нельзя. Забытый ныне Макс Штирнер в своем наделавшем гвалта: «*Der Einzige und sein Eigenthum*» в принципе только сделал большую книгу из короткой формулы «я и не я». И все теоретики эгоизма не сказали больше этого. Как ни дерзка, однако, эта формула, она вполне соответствует природе человека, как и всякого индивидуализированного существа вообще. Каждым своим шагом, каждым дыханием человек выделяет свое я из необъятного *Не-я*, противопоставляет себя ему и располагает все «не я» в чисто эгоистической перспективе, т. е. группирует его, применяясь к своим личным страданиям и наслаждениям. Это до такой степени очевидно, несмотря на все грошевые рассуждения грошевых моралистов, что человек мыслящий и не лицемер не потребует от нас доказательств. С лицемерами нам разговаривать нечего, а людям недодумавшимся рекомендуем порыться в книжках, в которых означенная мысль давно развита подробно, а иногда даже слишком подробно. Противоречия с тем, что было говорено выше, здесь нет, потому что нет никакого основания предполагать, что эгоизм выражается не иначе как в форме желания содрать с соседа как можно больше и дать ему в обмен как можно меньше. Человек, как и всякое живое существо, всегда стремился, стремится и будет стремиться

к счастью, искать наслаждения, ощущений приятных и бежать страдания. Это — факт, до такой степени основной, связанный с самым фактом бытия, что Бэн («Дух и тело») имел полное право назвать следующее положение «законом самосохранения»: «Состояние удовольствия соединяется с усилением, состояние страдания — с ослаблением некоторых или всех жизненных отправления». Но само собою разумеется, что общий и элементарный принцип стремления к личному счастью может в частных случаях усложняться почти до неузнаваемости. Усложнения эти бывают двоякого рода. Или человек, гоняясь за наслаждением, попадает на ложную дорогу и страдает по ошибке. Или он страдает сознательно, в видах получения некоторого, особенно для него ценного наслаждения. Муцию Сцеволе было, конечно, больно, когда он жег свою руку, он страдал, но страдание это он перенес не ради него самого, а ради наслаждения, даваемого сознанием исполненного долга. Из этого следует только то, что стремление к личному счастью, эгоизм, способны принимать крайне разнообразные формы, которые следует различать и классифицировать. И если читатель отрешится от привычного отвращения к эгоизму, вызванного низкими формами, в которых он часто проявляется, то увидит, что немецкая формула «я и не я» включает в себе нечто величавое и смелое, хотя, конечно, я не буду стоять за то развитие этой формулы, которое представили немецкие метафизики. Да ни у одного из них не хватило смелости и правдивости осветить с точки зрения своей основной идеи темные переулки и закоулки лабиринта общественной жизни. Вызывая с первого же шага на бой всю вселенную, они на втором шаге готовы были примириться с ничтожеством. Они были блудливы, как кошка, и трусливы, как заяц. В истории нравственных теорий вообще бросается в глаза какая-то странная смесь крайней смелости мысли с трусостью. Возьмем недавний пример. Известный позитивист Литтрэ представил года три тому назад теорию происхождения нравственности. Он полагает именно, что все наши эгоистические чувства имеют свой корень в потребности питания, как в инстинкте поддержания личной жизни, а чувства и побуждения альтруистические (термин Конта) — в инстинкте поддержания жизни целого вида, в потребности размножения. Эти два инстинкта, постепенно развиваясь, образовали всю сложную сеть наших нравственных понятий. Эта мысль в основании своем не новая. И все, кто ее высказывал, упорно старались не только отличить эгоизм и альтруизм в их теперешнем состоянии, а дать им непременно различное происхождение. Без сомнения, задняя мысль, всегда подсказывавшая такое решение вопроса, состоит в предубеждении против эгоизма, ради его грязных форм. Кажется унижительным связать

эгоизм с нравственностью даже в их отдаленном источнике. А между тем если уж решиться идти так далеко в глубь истории, как пошел Литтрэ, так почему не признать и половой инстинкт просто одной из форм инстинкта поддержания личной жизни. Для первобытного человека, а тем более для низших форм животной жизни, удовлетворение аппетита и полового инстинкта имеют совершенно одинаковое значение.

Замечено, что теоретики эгоизма бывают часто на практике людьми крайне добрыми, исполненными самоотвержения и всякого доброжелательства к людям. Это относится в особенности ко многим знаменитым деятелям конца прошлого столетия. Так, Морелли, например, говорил, что собственник имеет полное право запереть дверь своего дома перед носом забнувшего и промокшего человека. Сам Морелли никогда бы так не поступил. Он только в принципе отстаивал неприкосновенность и верховные права своего я, чтобы на практике добровольно, исключительно по свободному решению того же я распахнуть настежь дверь своего дома перед обездоленным. Всякий должен признать, что это положение имеет свое достоинство и свою прелесть. Тем именно и обаятельно было влияние великих умов конца прошлого столетия, что они более или менее решительно сбрасывали с личности всякие умственные и нравственные кандалы. Отчасти этим же объясняется и обаяние немецкой метафизики. Недаром Фихте праздновал, как день духовного рождения своего сына, тот день, когда он впервые назвал себя местоимением первого лица — я.

И от всех драгоценных сторон сознания личной свободы ход истории предлагает нам отказаться, если справедливо предположение, что и массы, и интеллигенция в Европе тяготеют к прошлому — к цеховой системе и поземельной общине. Член английского союза плотников уже и теперь не смеет работать быстрее других, хотя бы был гораздо сильнее и искуснее их; он не смеет, хотя бы умирал с голоду, взяться за работу, если союз решил произвести стачку; он связан и многими другими стеснениями. Русский мужик великоросс должен в известный срок пустить свой участок в жеребий и не смеет продать его, хотя бы он составлял для владельца только тяжелое бремя. Неужели — это будущность Европы, в которой пролилось так много крови за свободу, в которой с идеей свободы сжились так давно и так прочно? Есть над чем призадуматься.

Однако черт не так страшен, как его малюют. О том, что английские рабочие союзы должны будут изменить многие пункты своих уставов или погибнуть, а также о том, что русская община может также изменяться и развиваться, мы теперь говорить не будем, а обратим внимание читателя на следующие любопытные и запутанные

обстоятельства. Если, как говорят старые экономисты, манчестерцы, свободное движение личных интересов, ничем не связанных, ведет к наилучшим результатам, а тем более если в действиях своих люди руководствуются исключительно личным интересом, то как объяснить возникновение различных организаций, которыми рабочие добровольно стесняют свою личную свободу? И заметьте, что чем свободнее страна, тем подобные организации в ней распространеннее и энергичнее. Отчасти это объясняется, разумеется, тем, что они в Англии, например, встречают для своего возникновения и развития меньше стеснений, чем на континенте. Но вместе с тем должно признать, что сама промышленная свобода несет с собой какой-то яд, побуждающий людей хвататься за противоядие. Во всяком случае, личный интерес побуждает рабочих в известной, часто очень и очень большой мере отказываться от личной свободы. Этот-то неожиданный и парадоксальный результат свободного промышленного прогресса главным образом и побудил экономистов к пересмотру своих догматов. К сожалению, однако, при этом пересмотре происходит один очень важный недосмотр. Почти вся разномастная группа, подведенная нами под рубрику этического направления, весьма горячо обличает «индивидуализм» и «атомизм» классической школы, т. е. Смита, Рикардо, Мальтуса и их эпигонов, нынешних манчестерцев. Под индивидуализмом (слово, пущенное в ход Луи Бланом) или атомизмом здесь разумеется стремление основать науку на потребностях личностей, индивидов, отдельных атомов общества, а не самого общества, рассматриваемого как самостоятельное целое. Попрекая этим старых экономистов, представители этического направления делают огромную ошибку. Старые экономисты действительно всегда много говорили и говорят о свободе личности, о личном интересе, так что на первый взгляд в самом деле может показаться, что интересы общества, как некоторой высшей единицы, личности юридической, для них не существуют. В действительности, однако, отношения их к личности и обществу совсем не таковы. Они отрицали и отрицают государство как регулятор экономических отношений, отрицают в том же смысле и такие общественные единицы, как цех и община. Это для них фантомы, Spuck, как говорил Макс Штирнер. Но из этого не следует, чтобы у них не было своего фантома. Он есть, и личность приносится ему в жертву. Спенсер в своей «Социальной статике» очень удачно называет этот фантом (которому он и сам приписывает обильные жертвы) системой наибольшего производства. Контуры и границы этой общественной единицы далеко не так определены, как контуры и границы, например, семьи или государства; узы, связывающие ее членов, далеко не так явно насильственны, как

в некоторых других формах общественности. Но тем не менее узы эти существуют, и разорвать их часто бывает труднее, чем какие бы то ни было другие. В «Записках профана» были приведены два очень характерных в этом отношении факта из русской жизни. Либеральный и гуманный Мордвинов отстаивал крепостное право единственно потому, что перед его умственным оком носилась система наибольшего производства, а нормальных для этой системы, т. е. свойственных ей уз налицо еще не было. Их нет на Руси в достаточном размере и до сих пор, а каковы они должны быть — это видно из откровенного показания одного свидетеля в комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства. Свидетель этот прямо утверждал, что горе наше не столько в пьянстве крестьян, их невежестве и проч., сколько в том, что они имеют собственные хозяйства: «Необходимо прежде всего, чтобы у них не было собственных хозяйств», только тогда из них выйдут надежные, постоянные, дорожающие своим местом рабочие, вместе с чем возрастет и сельская производительность в России. Справедливы или не справедливы виды на увеличение производительных сил России путем обезземеления крестьян, характер приведенного предложения вполне ясен: в видах системы наибольшего производства изыскиваются узы, достаточно прочные для того, чтобы свободная личность крестьянина не могла из них выбиться; средство очень простое: лишение крестьянина собственности и поставление его в такие экономические условия, где его личный интерес отодвинут на задний план. Спрашивается: при чем тут индивидуализм? Тут топчется именно личность, индивид; личная свобода, личный интерес, личное счастье кладутся в виде жертвоприношения на алтарь правильно или неправильно понятой системы наибольшего производства. А между тем приведенное предложение вполне соответствует духу старой политической экономии, и если в нем резче выступает реальная подкладка рассуждений о свободе, то только благодаря обстоятельствам времени и места, благодаря именно тому, что у нас система наибольшего производства еще только водворяется. Однако и в европейской экономической литературе могут быть найдены предложения и положения, даже еще более откровенные. Я напому только мнения Тоунзенда об английском законе о бедных и Гарнье — о народном образовании. Первый полагал, что закон о бедных стремится разрушить «гармонию и красоту, симметрию и порядок Богом и природой установленной системы». Гарнье ратовал против народного образования, которое грозит «уничтожить всю нашу общественную систему. Как все другие виды разделение труда, разделение между трудом физическим и умственным становится резче по мере обогащения общества: подобно всякому другому,

это разделение труда есть результат прошедших успехов и причина будущих». Очевидно, что этих людей нельзя упрекать в индивидуализме, потому что они имеют свой Spuck, свою «общественную систему», ради интересов которой желают оборвать стремление личности к умственному развитию и материальному благосостоянию. В знаменитых практических выводах из закона Мальтуса, в так называемой теории морального воздержания, система эта посягает даже на такие интимные права личности, как право любви (чего, между прочим, никогда не делает прославленная своей стеснительностью русская община).

И старые социалисты, и нынешние представители этического направления совершенно даром тратили и тратят красноречие, иронию, пафос, доказывая, что экономисты-манчестерцы не хотят знать ничего, кроме отдельных неделимых. Напротив, их-то они и не хотят знать. Такая общественная система, которая опиралась бы на свободу личности и на личный интерес, была бы совершенно противна духу старых экономистов. Они, правда, требовали ее на словах; они даже резко и энергично критиковали с этой точки зрения государство, феодальные и крепостные отношения, цех, общину; но, разбудив таким образом жажду личной свободы и личного интереса, они немедленно же вдвигали личность в систему наибольшего производства, где она и погибла. Таким образом, упреки в индивидуализме, адресованные на имя экономистов, основаны на чистом недоразумении. Устранение этого недоразумения представляется мне важным не только в том общем и чисто логическом смысле, что все ошибки подлежат исправлению. Есть ошибки важные и не важные, а рассматриваемая нами ошибка очень важна. Во-первых, уже потому, что она очень распространена. Не хватило бы у меня места, если бы я вздумал цитировать хотя бы только важнейшие из возражений экономистам, основанных на означенном недоразумении. Замечу только, что оно разделяется и одним из замечательнейших современных писателей, Фр. Альб. Ланге, некоторыми мыслями которого я сейчас воспользуюсь. Ланге должен быть зачислен в группу этического направления. Но он стоит совершенно особняком и по воззрениям, и по силе мысли, и по многосторонности эрудиции, и по добросовестности. Большинство «этиков», путаясь кто в политических, кто в клерикальных тенденциях, негодует на манчестерцев именно с точки зрения этих тенденций. Ланге в этом отношении — человек чистый. Тем не менее и он толкует об индивидуализме и атомизме политической экономии. Надо заметить, что русские писатели грешны этим грехом меньше других. По крайней мере, многие из писавших о нашей общине (еще недавно г-н Посников) старались показать в своих

возражениях доморощенным манчестерцам, что рекомендуемая ими система наибольшего производства только по недоразумению и на словах берется гарантировать личную свободу, личный интерес и собственность, а в сущности ведет к разрушению и того, и другого, и третьего. Выгоды этой точки зрения очевидны. Она объясняет, между прочим, и парадоксальные на первый взгляд результаты свободного промышленного прогресса, и постепенно овладевающее Европой стремление к изучению, а местами и к восстановлению отживших, забытых форм общежития, на которых наука уже поставила было крест. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Это — вековая истина. Она и экономистами признается, даже во главу угла науки ставится. Пока система наибольшего производства только освобождала личность, разбивая узы цехов и монополий, на нее возлагались всяческие надежды, а по мере того как стал обнаруживаться ее двусмысленный характер, ее стремление заменить одни узы другими — надежды стали ослабевать. Старые узы оказались в некоторых отношениях сноснее новых, потому что они все-таки гарантировали личность от бурь и непогод. Явилась мысль применить их старые принципы к требованиям нового времени, причем, разумеется, совершаются и неудачные опыты, потому что дело предстоит не легкое.

Но здесь нам может быть сделано одно очень важное возражение. Положим, скажут, что личность крестьянина, лишенного гарантий общины, и ремесленника, вылупившегося из цеха, действительно затерлась и потерпела большее или меньшее повреждение в системе наибольшего производства. Но эта система в том именно и уличается, что она строит благосостояние сравнительно немногих на разорении масс; в этом и состоит проникающий ее и ее апологетов эгоистический элемент. Само собой разумеется, что не наше дело — защищать систему наибольшего производства. Но вот в чем вопрос: действительно ли так велико, как кажется, счастье тех, кого система наибольшего производства осыпает своими дарами? Небезынтересно заметить, что Мальтус, совершенно по тем же соображениям, по каким Гарнье восстает против народного образования, требовал, чтобы страсть к накоплению богатств была отделена от влечения к наслаждениям. Ему казалось, что система наибольшего производства тогда только будет процветать, когда рабочие будут работать, размножаясь лишь по заказу рынка, а капиталисты только накапливать богатства, не наслаждаясь; наслаждения он ставил вне системы наибольшего производства, по крайней мере, вне персонала активного участия в ней. Конечно это — мечта, своего рода утопия. Но узкая логичность Мальтуса имеет свою цену.

Вопрос о счастье осыпанных дарами задал себе и упомянутый уже Ланге и дал на него любопытный ответ при помощи одного психофизического закона, который и мне придется изложить вкратце.

Еще в прошлом столетии Д. Бернулли, разрабатывая теорию вероятностей, обратил внимание на следующее обстоятельство. Положим, что вероятность выигрыша в какой-нибудь лотерее вычислена для двух человек: одного — богатого и имеющего несколько билетов, другого — бедного и имеющего гораздо меньшее число билетов. Разница между этими двумя вероятностями отнюдь не будет выражать разницы в степени удовольствия, с которыми выигрыш будет встречен тем и другим претендентом. Это — совсем другой вопрос. Шансов выиграть у богатого больше, потому что у него больше билетов, объективное счастье на его стороне; но этого нельзя прямо сказать о счастье субъективном, т. е. о внутреннем удовлетворении выигрышем. Богатый человек с презрением смотрит на такие суммы, которые ошастливили бы бедного. На основании этих соображений Бернулли вывел, что относительная, личная, субъективная ценность какой-нибудь суммы (*fortune morale*, как потом назвал Лаплас) равняется абсолютной, математической, объективной ценности (*fortune physique*), разделенной на имущественное состояние заинтересованного человека. Дальнейшая разработка этого положения привела к формуле: относительная ценность растет как логарифм ценности абсолютной. Это вычисление долго оставалось без употребления в учебниках теории вероятностей, пока ему не придали важного значения два лейпцигских профессора: Вебер и Фехнер. Рядом опытов, наблюдений и вычислений они пришли к тому заключению, что всякое ощущение растет как логарифм вызывающего его впечатления или раздражения. Если мы для простоты возьмем только цифры: 1, 10, 100, 1000 и т. д., то логарифмы их будут: 0, 1, 2, 3, 4 и т. д. Значит, принимая за единицу ту степень раздражения или ту величину впечатления, соответствующее ощущение которому равно нулю, мы должны усилить впечатление на девять единиц, чтобы ощущение усилилось только на одну единицу. Это совпадение закона ощущений с законом логарифмов так поразительно, что, как говорит Вундт, таблицы логарифмов точно нарочно для того составлены, чтобы избавить психологов от вычислений. Ланге, со своей стороны, находит, что Фехнер вполне прав, называя приведенный закон «основным психофизическим законом». Вебер начал собственно с исследования мелких разниц в длине линий, распознаваемых на глазомер, разниц в высоте тонов, распознаваемых на слух, в весе предметов, в силе света, запаха и проч. Эти-то исследования и убедили его, что иногда абсолютная разница, например в весе двух предметов, еще не определяет

разницы в ощущении осязания. Например, небольшая прибавка хинина не усилит горького вкуса крепкого раствора, между тем как в слабом растворе хинина эта же прибавка произведет ощутительное на вкус усиление горечи.

Спрашивается: можно ли приложить «основной психофизический закон» к общественному быту? Но, кажется, тут и спрашивать нечего, потому что закон этот есть тот же закон Бернулли, который уже непосредственно соприкасается с явлениями общественной жизни. И действительно, «основной психофизический закон» может пролить свет на многие запутанные явления. Возьмем, например, степень восприимчивости какого-нибудь народа к политическому гнету или степень восприимчивости представителей какого-нибудь класса общества к давлению экономических отношений. С точки зрения закона Вебера очевидно, что если гнет усиливается, то эта прибавка ощущается совсем не пропорционально ее абсолютным размерам, а пропорционально ее отношению ко всей силе гнета. Как ничтожная прибавка хинина мало ощущается в крепком растворе и резко слышится в слабом растворе, так, например, некоторое усиление полицейского произвола в одной стране может произвести целую бурю, а в другой пройти совсем незамеченным. Это будет зависеть не от размеров прибавки, а от ее отношения ко всей существующей уже сумме произвола. Естественно, что какому-нибудь хивинцу может показаться, что англичане иногда с жира бесятся...

Но нас здесь интересует другой вопрос, именно вопрос о счастье людей, осыпaeмых дарами системы наибольшего производства. Оказывается, что старая пословица «не в деньгах счастье», равно как и многие наивные изречения наивных мудрецов о тщете материальных благ, с математической точностью подтверждаются современной наукой. Конечно, как проповеди наивных мудрецов не отвратили людей от жажды наживы, так и указания современной науки будут в этом случае приняты разве только к сведению и уж никак не к исполнению. Но наука все-таки обязана сказать, что объективное счастье, состоящее в обладании известными материальными благами, отнюдь еще не гарантирует счастья субъективного, личного, т. е. известной суммы приятных ощущений. Мало того, погоня за этим объективным счастьем, даже удачная, в корень подрывает субъективное, т. е. настоящее счастье. Это именно и говорили испокон века наивные мудрецы. Наука то же слово, да не так же молвит. Не говоря уже о разнице в приемах доказательства и в степени доказательности, наивные мудрецы утверждали, что алчный человек, даже в случаях удовлетворения его алчности, есть человек несчастный, а потому, дескать, не будем ему завидовать, а просто пожалеем его. Наука

на этом остановиться не может. Дело психологии — показать, какая степень счастья, даваемого удачным сосредоточием рублей и роскошью. Дело социологии — выяснить отношение этих явлений к жизни общества. Отчего не пожалеть и богача, если он субъективно несчастлив, но надо пожалеть и тех, на счет которых строится его объективное счастье.

Ощущение растет как логарифм вызывающего его впечатления, т. е. несравненно медленнее. Значит, опять-таки, для того чтобы ощущение удовольствия, приносимого процессом сосредоточения рублей или роскошным образом жизни, чтобы это приятное ощущение увеличилось всего на одну единицу, сумма рублей или предметов роскоши должна увеличиться на целых девять единиц. Отсюда — ненасытность алчности. Она, собственно, не имеет и не может иметь пределов и должна постоянно изыскивать все новые и новые средства, хотя бы для того, чтобы поддерживать сумму приятных ощущений на одном и том же уровне, не давая ей падать. Разница между теперешним нашим положением и новым, обеспечивающим некоторое увеличение наслаждения, ощущается только в момент приращения, а приращение это должно увеличиваться все быстрее и быстрее. Приращение, весьма ощутительное для человека среднего состояния и среднего образа жизни, не только ни на одну йоту не усилит приятных ощущений человека богатого, но может, относительно говоря, даже ослабить их, потому что оставит его жажду неудовлетворенной. Поднимаясь на еще высшую степень богатства, этот богатый человек может даже в слабой степени удовлетворяться только еще более значительным приращением, и т. д., и т. д., вплоть до могилы или какой-нибудь катастрофы, сразу сметающей все его благосостояние. Возможность такой катастрофы всегда близка, потому что способная к бесконечному возрастанию алчность побуждает к рискованным способам догнать вечно убегающую цель и уравнивать рост ощущений с ростом раздражений. Когда мы слышим, что такой-то зарвался на биржевой игре, такой-то обокрал кассу, такой-то изнывает от тоски среди роскошной обстановки, такой-то изобретает наслаждения все более и более острого свойства, мы рассматриваем все это как отдельные случаи, а если и стараемся суммировать их, то все-таки редко кому приходит в голову оценить всю фатальность, всю неизбежность подобных явлений в системе наибольшего производства. Очевидно, что на этом пути счастья нет; его нет даже для осыпанных дарами — они гонятся за счастьем с таким же успехом, с каким ребенком гонится за своей тенью. Нет поэтому ничего удивительного в том, что многие серьезные люди, как говорит Милль в известной, проникнутой какой-то тихой грустью главе о «неподвижном

состоянии» (Основания политической экономии, книга IV, гл. VI), «довольно холодны к нынешнему экономическому прогрессу, с которым поздравляют себя дюжинные публицисты — к простому возрастанию производства и накопления». Между прочим, одну из характерных черт современной экономической литературы составляет то обстоятельство, что вопросы производства и накопления уходят в ней на задний план, подчиняются другим вопросам. Интерес большинства новейших исследований сосредоточивается на изучении таких форм общественности, которые способны оградить личность от жизненных бурь и гарантировать ей возможность многостороннего развития, а не таких, которые способны усилить производство и накопление. С этой точки зрения наука смотрит на будущее, с нее же оценивает и отжившие или отживающие формы, каковы цех и община. Ими интересуется с той стороны, что это — сочетания не капиталов с капиталами, а людей с людьми, *личностей с личностями*; что отдельные члены их пользуются выгодами сочетания сил *сообразно своим потребностям*, а не вкладам. Поэтому, если под индивидуализмом разуместь учение, покоящееся на личности, ее потребностях и интересах, то его вопреки установившемуся мнению следует искать не в старой, манчестерской, так называемой либеральной политической экономии, а в ныне возникающих доктринах. Старая же политическая экономия целиком отдавала личность на жертву системе наибольшего производства. В самом деле, система эта может процветать, т. е. производство может расти в колоссальных размерах, могут накапливаться колоссальные богатства, между тем как входящие в систему личности не получают ни свободы, которая им обещается на словах, ни счастья, которое постоянно их поддразнивает и убегает. Допустите на минуту вместе с г-ном Строниным и комп., что система наибольшего производства есть организм *sui generis*, нечто живое и реальное, а не *Spuck*, и вы увидите, что этому высшему организму действительно очень выгодно, чтобы крестьянин был обезземелен, чтобы рабочий был пригвожден к определенному месту в качестве одного из покорных членов организма, чтобы, наконец, росла жажда наживы и материальных наслаждений, обуславливающая рост накопления и производства. Но где же здесь индивидуализм и атомизм?

Читатель приглашается смотреть на предлагаемую статью как на беглое введение, различные части которого получают в свое время более подробное развитие. Цель наших очерков состоит в выяснении отношений различных форм общежития к судьбам личности. Очерки эти предполагается вести в известном систематическом порядке, в котором система наибольшего производства занимает не первое

место. Но прежде всего надо выяснить общие принципы «борьбы за индивидуальность» и определить их связь с новейшими движениями в науке и жизни. Сделать это на каком-нибудь частном выдающемся случае представлялось нам особенно удобным. Можно было начать, например, с того разряда фактов, который занимает г-на Драгоманова в статьях о новокельтском и провансальском движении во Франции (Вестник Европы, № 8, 9). Мы встретили бы здесь ряд явлений, аналогичных фактам, на которые выше обращено внимание читателя. Г-н Драгоманов занят «движением, которое то сильнее, то слабее замечается во всех европейских обществах, — движением к тому, чтобы дать если не преобладание, то сильную долю участия в нравственной и практической жизни современных обществ сельским классам, действительному большинству народа». Движение это проявляется и в жизни, и в литературе, и в науке. Проявляется оно, между прочим, интересом к провинциальным народным наречиям, которыми говорят сельские классы. Если принять в соображение отрицательное отношение первой революции ко всем местным провинциальным особенностям, а также то обстоятельство, что крестьяне во Франции до сих пор всегда становились поперек дороги политическому либерализму, то невольно вспоминается, что ведь и цеховая система была разрушена революцией и что система эта была всегда антиподом либерализма экономического. Формы, в которых на первых порах выражается пробуждение провинций и сельских классов, часто в своем роде не менее грубы, чем практика английских рабочих союзов и некоторые другие явления того же порядка. И там и тут неожиданно поднимается нечто, старое, забытое, еще недавно всеми презираемое. Если европейский либерал и русский читатель (который по отношению к европейским делам почти всегда либерал) могут с ужасом думать о возможности гибели свободы и личного интереса в кандалах цехов и общин, то не с меньшим ужасом должны они относиться к возможности влияния на историю грубых, невежественных, оттертых от торной дороги прогресса французских крестьян. Присмотревшись, однако, попристальнее к этой страшной для либералов возможности, мы без особенного труда убедились бы, что чему другому, а началам личности и свободы она, в сущности, отнюдь не грозит; что мы имеем здесь дело с формами, часто очень не привлекательными, борьбы за индивидуальность, которая (индивидуальность) не находит себе должного обеспечения в государственных порядках Франции. Мы могли бы добыть из-под той верхней пленки истории, в которой фигурируют Карлос и Альфонс, некоторые другие аналогичные и столь же на первый взгляд поразительные явления. Но мы предпочли остановить внимание читателя на некоторых

протестах против системы наибольшего производства и ее апологетов, потому что никто больше старых экономистов не толковал о личности и ее интересах и никто не был больше их упрекаем в индивидуализме. Неосновательность этих упреков будет в свое время показана яснее и подробнее. Но и теперь уже ясно, что старый спор социалистов и экономистов должен или прекратиться, или перенестись на новую почву. Как бы ни были справедливы доказательства экономистов, что тот или другой утопист мечтает замкнуть личность в известные неподвижные формы и совершенно утопить ее интересы в интересах общества — несомненно, что *все* старые экономисты сами стремились именно к такому поглощению личности в системе наибольшего производства.

Мы забежим и еще несколько вперед, сказав несколько слов об одном явлении, имеющем непосредственную связь с системой наибольшего производства, хотя и выходящем уже из ее границ. Алчность, направленная на покупательную силу или на наслаждения, приобретаемые этой силой, сама по себе, как мы видели, пределов не имеет. Она ненасытна по самой природе своей. Поэтому человек, попавший в эту колею, рано или поздно перестает довольствоваться теми способами приобретения и накопления, которые ведут к производству новых богатств. Неудовлетворенный в своей погоне за счастьем, вечно близким и вечно удаляющимся, он — холоп своего Spuck и протестует по-холопски. Как недовольный дикарь сечет своего идола, а не ищет себе другого бога, так и он не пытается выбраться из несчастной колеи, а изыскивает средства приобретать, не производя. Можно украсть, можно подделать духовное завещание или другой какой-нибудь документ, можно поджечь мельницу, застрахованную выше ее стоимости. Все это и практикуется. Но эти стародавние, нелегальные способы наживаться неинтересны. Есть способ, относительно говоря, новый и притом не подлежащий каре закона, — спекуляция. Спекуляция буквально значит — умозрение. Спекулятивный элемент есть во всяком промышленном и даже во всяком человеческом предприятии вообще. Это — просто умозрительная оценка условий предприятия. Адвокат, защищая человека, в невинности которого он даже вполне убежден и оправдание которого искренно поставил себе целью, может прибегнуть к тому или другому ораторскому эффекту, сообразному с составом присяжных: он спекулирует на известных качествах присяжных. Путешественник, едущий в какую-нибудь дикую страну, запасается грошовыми зеркалами, бусами и другими украшениями, спекулируя на пристрастии дикарей к блестящим игрушкам, и т. п. Но спекулянт в тесном смысле слова — совсем не то. Он отрывает спекуляцию, умозрение, от предприятия.

Он, по определению одного старого официального французского документа (декрета 1795 году), продает то, чего у него нет, и покупает то, что ему вовсе не нужно и чего он вовсе не хочет приобрести. Пристраиваясь к какому-нибудь предприятию, даже становясь во главе его, спекулянт отнюдь не думает довести его до конца, да и вообще об этом конце не думает. Все его умозрение направлено на то, чтобы перепродать в благоприятную минуту свою долю участия в предприятии, получить разницу между низшей и высшей ценой этой доли. Для этого цены этих долей разными искусственными приемами и уловками поднимаются все вверх. Такие усиленные дозы все-таки, однако, не могут наполнить бездонную бочку Данаид, и алчность все-таки находит предел не в себе, а в Krach'e, в кризисе — результате переполнения рынка фиктивными ценностями или несоответствия этих ценностей с действительными выгодами представляемых ими предприятий. А результат кризиса известен уже нам по собственному, русскому, опыту: разорения и самоубийства. Замечательна заразительность, повальный характер спекуляции и биржевой игры. Тут есть нечто столь же болезненное, как в средневековых «коллективных» маниях, когда вдруг тысячи людей без всякой видимой причины испытывали непреодолимое желание то плясать, то сноситься с дьяволом, то идти в Палестину. Стоит припомнить один из древнейших, если не древнейший случай спекуляционной горячки. Он любопытен во многих отношениях.

В 1554 году естествоиспытатель Бусбек вывез в Европу из Адрианополя тюльпан, который скоро сделался любимым цветком голландцев. Любовь эта в годы 1634—1638 обратилась в настоящую манию и, Бог знает почему, совершенно отуманила головы практических и флегматических жителей Нидерландов. Деньги, поместья, дома, скот, посуда, платье — все уходило на приобретение тюльпановых луковиц. И увлекался не один какой-нибудь класс народа: жертвами тюльпаномании были и дворяне, и трубочисты, и купцы, и кухарки, и крестьяне, и ремесленники. Понятно, что собственно любовь к тюльпанам была подхвачена и раздута спекуляцией. Продавцы и покупатели тюльпанов имели свои биржи, своих маклеров, писцов и проч. Вот что говорит цитируемый Максом Виртом (*Geschichte der Handelskrisen*, 1874) Джон Франсис: «История голландской тюльпаномании не уступит в поучительности ни одному из подобных периодов. В 1634 г. главные города Нидерландов увлеклись спекуляцией, которая разорила солидную торговлю, вызвала алчность богачей и бедняков, подняла цену цветов до того, что они продавались дороже, чем на вес золота, и, наконец, как всегда в таких случаях бывает, разрешилась всеобщим горем и диким отчаянием. Многие совершенно

разорились, немногие обогатились. Основания тогдашней спекуляции были те же, что и ныне. Дела заключались на поставку в срок известных видов луковиц, и были случаи, что на уплату разницы по сделке о двух луковицах шло все имущество спекулянта. Заключались контракты и платились тысячи гульденов за тюльпаны, которых даже и в глаза не видали ни маклера, ни продацы, ни покупатели. Некоторое время, как обыкновенно бывает, все выигрывали и никто не был в проигрыше. Бедняки богатели; высшие и низшие классы торговали цветами; маклеры наживались, и трезвый голландец мечтал о прочном счастье. Страна предалась обманчивой надежде, что страсть к цветам будет длиться вечно. А когда узнали, что лихорадка проникла и за границу, то решено было, что богатства всего мира сосредоточатся на берегах Зюдерзее и что отныне бедность станет мифом в Голландии. Что верование это было вполне искренно, доказывается теми ценами, которые, по свидетельству многих достоверных современников, платились за тюльпаны». Действительно, цены платились громадные. Тюльпановые луковицы продавались на вес гранами, причем различные виды тюльпанов ценились различно. Двести гран вида *Semper Augustus* стоили 5500 флоринов, 410 гран *Viceroy* — 3000 флоринов и т. д. Были сделки такого рода: за луковицу давалась новая карета и пара лошадей с упряжью, за другую — двенадцать акров земли. Из дел города Алькмара видно, что в 1637 году сто двадцать луковиц было продано с публичного торга в пользу сиротского дома за 90 000 флоринов. Понятно, какие громадные суммы переходили из рук в руки каждый день, какие состояния складывались и разрушались в самый короткий срок. Биржевая игра со всеми ее нынешними приливами и отливами была уже налицо. Вся разница, как говорит Макс Вирт, состоит в том, что акции назывались тогда «тюльпанами». Из множества относящихся к тому времени анекдотов приведем два. Один купец велел подать закусить матросу, который доставил ему на дом какие-то товары. Закуска была очень скромная — селедка и кружка пива. Матрос захотел ее чем-нибудь приправить и искрошил в селедку лежавшую тут же в комнате луковицу. Оказалось, что завтрак матроса обошелся в 500 флоринов, потому что такова была цена луковицы: она была тюльпановая, и купец ее только что приобрел. Один англичанин нашел в саду несколько тюльпановых луковиц и взял их себе для научных исследований. Он был обвинен в воровстве и должен был уплатить громадные деньги. Не одна Голландия одурела. И Лондон, и Париж обезумели, хотя и в меньшей степени. Наконец, наступила минута расплаты за глупость. Завеса упала с глаз, и луковицы оказались луковицами, чем им и надлежит быть. Настала паника. Тот, кто вчера еще владел

громадным состоянием в виде нескольких тюльпанов, которые стоило только вынести на рынок, чтобы иметь и землю, и лошадей, и экипажи, и деньги, и все благо земли — сегодня оказался нищим. Напрасно продавцы тюльпанов доказывали, что их товар имеет высокую ценность и что паника не имеет основания. Ничто не в силах было удержать падения курса тюльпанов, которые были, впрочем, так же красивы и цветущи, как и прежде. Банкротства шли за банкротствами, и много лет понадобилось на излечение ран, нанесенных бессмысленной тюльпаноманией.

Не говоря о поучительности этой истории, имеющей себе по нелепости весьма мало соперниц в истории человечества и, однако, в сущности тождественной с позднейшими спекуляционными лихорадками, она поможет нам установить нужные термины. Каждый из тюльпаноманов очень хорошо понимал или мог понимать, что настоящая цена луковице — грош, но вместе с тем каждый рассчитывал на глупость всех остальных, на то именно, что они будут ценить грош в несколько тысяч гульденов. В конце концов, все оказались равно глупы, за исключением, может быть, горсти запевал, вроде нашей «малой биржи», заседающей то у Демута, то у Вольфа. Так представляется история с первого взгляда. На деле, однако, такой сознательности в действиях большинства тюльпаноманов, по всей вероятности, не было. Это был чисто болезненный и заразительный процесс, находящийся, может быть, в прямой связи с «основным психофизическим законом», с несоразмерностью роста раздражений и ощущений. Это стихийные силы бушевали, а не силы разума. Как бы то ни было, но каждый тюльпаноман думал исключительно о своей личной наживе. Это-то беззаветное стремление к личной наживе экономисты и взяли некоторым образом под свое покровительство, построив на нем науку и объявив, что оставленное на всей своей вольной воле стремление это водворит на земле ту степень совершенства людских отношений, какую только способна вынести наша грешная земля. Сами экономисты думали, что они стоят за свободу, интересы и достоинство личности; другие громили их за систематизацию и догматизацию эгоизма, индивидуализма. Возьмем же тюльпаноманию. Что нравственную подкладку этого бешенства составляет эгоизм, это, конечно, верно. Но если моралисты спорят о том, есть ли в нас какой-нибудь этический двигатель, который не может быть сведен к эгоизму, так только потому, что эгоизм способен принимать бесконечно разнообразные формы. И во всяком случае, та форма эгоизма, которая, действительно, заслуживала бы названия индивидуализма, очевидно отсутствует в тюльпаномании. Мы тут видим простое стадо баранов, жмущихся друг к другу и бессмысленно валящихся всей

гурьбой в пропасть. Глупостью ли, расчетом ли на чужую глупость, чем бы то ни было, но тюльпаноманы все обезличены, связаны в кучу. Конечно, на таком патологическом случае ничего основывать нельзя, и тюльпаноманию мы приводим только в качестве иллюстрации.

Нам могут сказать, что основной психофизический закон приложим не только к системе наибольшего производства, что не только жажда наживы, а и жажда познания, жажда любви ненасытимы в силу того, что ощущение возрастает как логарифм вызывающего его впечатления. Да наконец, что же делать и с жаждой материальных наслаждений? Не в монахи же всем идти. Совершенно справедливо. Природа обидела нас во всех отношениях на этом пункте, как и на многих других. Жаловаться на нее, пожалуй, и можно, особенно в лирическом стихотворении или в красноречивом пессимистическом трактате вроде «Философии бессознательного» Гартмана, но при одних жалобах оставаться неудобно. Надо бороться. Бороться с природой можно только при помощи ее самой и, следовательно, только окольными путями. Природа дает яд, у нее же надо искать противоядия, какого-нибудь средства, которое парализовало бы действие основного психофизического закона. Уже самое поверхностное наблюдение может дать некоторый намек, что такое средство действительно есть. В самом деле, ведь не все же люди наживы топятся, вешаются и изнывают в тоске. Есть между ними и такие, которым живется недурно. Но секрет их состоит в том, что они — не исключительно люди наживы, что они не только не живут по тому рецепту Мальтуса, который предписывает накапливать не наслаждаясь, но еще стараются по возможности разнообразить свои наслаждения. Тонкий и разнообразный обед, опера, картинная галерея, путешествие, книга, и проч., и проч. более или менее спасают их. Это спасительное действие разнообразия впечатлений, очевидное для поверхностного даже наблюдения, подало повод некоему доктору Пидериту основать на нем теорию счастья (*Theorie des Glücks* — сочинение это известно мне только по цитатам того же Ланге, в *Arbeiterfrage*). Существует так называемый закон действия контрастов, по которому нервы наши тем восприимчивее к известным впечатлениям или раздражениям, чем дольше они перед тем подвергались противоположному раздражению. «Каждая радость, — говорит Пидерит, — кажется нам тем большей, чем сильнее было смененное ее горе, и тот, кто никогда не испытывал несчастья, не видал и счастья. Поясним это примером. Температура в три градуса тепла производит, как известно, неприятное ощущение холода в пальцах. Но если подержать несколько минут руку в ледяной воде, то та же температура в три градуса

произведет приятное ощущение тепла. Так бывает и с человеческим сердцем. Часто человек бывает недоволен своим положением и ропщет на судьбу. Но как только сердце его погружается в ледяную ванну несчастья, и он теряет то, чем обладал, потерянное получает для него высокую цену; те самые условия, которые ему казались невыносимыми, осчастливили бы его, если бы вернулись. Самое здоровье может только ценить тот, кому случалось его терять... Как невозможно постоянно питаться сладкими кушаньями, так невозможно вынести непрерывную радость и счастье. Кто через меру употребляет сладости, у того закон действия контрастов вызывает отвращение. По тому же закону скука и пресыщение следуют за чрезмерным счастьем. Удивляются, что богачи-англичане, которым жизнь ни в чем не отказывает, так часто кончают сплином и самоубийством. Но тут нет ничего удивительного, потому что

Nichts ist schwerer zu ertragen,
Als eine Reihe von guten Tagen».

Закон действия контрастов обязателен не только для нервов ощущения, а и для нервов движения. Труд и напряжение действуют благотворительно и приятно после долгого покоя, а покой, в свою очередь, доставляет наслаждение после напряженного труда. «Это относится и к умственному труду, — продолжает Пидерит. — Умственный труд есть первое условие нравственного здоровья, и наслаждение умственного напряжения состоит, главным образом, в следующем за ним благодатном чувстве душевного покоя. Чем дольше и напряженнее стремимся мы к какой-нибудь цели, тем сильнее наслаждение успокоения, когда цель достигнута. При этом степень наслаждения зависит не от того, как другие оценят добытый нами результат, а от степени и продолжительности затраченного напряжения. Ученый математик, решив уравнение первой степени, останется вполне равнодушным, а ученику третьего класса, которому придется поломать голову над этой задачей, результат доставит высокое наслаждение. Таким образом, счастье осуществляется по известным физиологическим законам, одинаково действующим на каждого, без различия возраста и общественного положения. Радость и горе, счастье и несчастье сменяют друг друга в жизни, как день и ночь, и чем темнее была ночь, тем благодатнее кажется нам свет нового дня. Несчастному легко выбраться из несчастья. Стоит ему только обратиться к труду, и притом к такому труду, к которому он имеет больше всего склонности и способностей: один берется за книги, другой за страннический посох, третий за плуг, четвертый за кисть художника, и с работой возвращается наслаждение, радость, счастье».

Это была бы прекраснейшая теория счастья, если бы она соответствовала действительности, а такое требование может быть ей предъявлено, потому что почтенный доктор Пидерит утверждает, что, собственно говоря, в действительности все счастливы, субъективно счастливы, т. е. сознают себя счастливыми. Но так как этого нет и так как обратиться к труду, к которому чувствуешь склонность и способности, в действительности часто бывает трудновато, то почтенный доктор Пидерит не теорию счастья состряпал, а кисло-сладкую немецкую *Mehlspeise mit Mandeln und Rosinen*. Кто такие *Mehlspeisen* любит — тому благо. Однако и тот, кому эти произведения немецкого кулинарного гения претят, должен признать, что в основании теории Пидерита есть нечто очень ценное. Закон контрастов, очевидно, способен вывести нас из-под действия фатальной несоразмерности роста ощущений и раздражений. Очевидно, в самом деле, что постоянное возрастание раздражений одного и того же рода с успехом может быть заменено разнообразием впечатлений. Если алчность, жажда наживы или какая бы то ни было иная жажда будет уравновешена каким-нибудь контрастом, то угрожающая человеку опасность превратиться в бездонную бочку будет устранена. Но конечно, спасительных контрастов следует искать не там и не так, где и как их ищет Пидерит. Он просто не понял своей собственной исходной точки. Это не с ним одним бывает. В одном из мелких опытов Спенсера («Польза и красота»), между прочим, развивается тот же закон контраста в применении к частной области. Дело идет о контрасте как необходимом условии красоты. Так, чтобы получить художественный эффект, свет должен быть располагаем рядом с тенью, яркие цвета с мрачными, выпуклые поверхности с плоскими; громкие переходы в музыке должны сменяться и разнообразиться тихими, а хоровые пьесы — соло; в драме требуется разнообразие характеров, положений, чувств, стиля; в поэме изменением стихосложения достигается значительный эффект, и проч. На основании этого Спенсер защищает исторических живописцев от чьих-то упреков в том, что они заимствуют свои сюжеты из далекого прошлого, а не из современной жизни. Современные положения и события, говорит он, составляют невыгодный сюжет для искусства, потому что влекут за собой сцепление идей, не представляющих значительного контраста с нашими ежедневными представлениями. Не говоря о том, что современная жизнь, если уж на то пошло, представляет слишком достаточное количество резких контрастов в пространстве, чтобы их надо было искать во времени, вся защита исторической живописи пришта к тут противно основным требованиям логики. Исходная точка Спенсера есть необходимость разнообразия слуховых

и зрительных впечатлений, необходимость известных контрастов в самой картине, драме, поэме, опере и т. д. Это не имеет решительно никакого отношения к несходству положения зрителя или слушателя с сюжетом картины или оперы. Так и у Пидерита. Начинает он с благотворного значения разнообразия ощущений, а кончает тем, что делает из несчастья необходимое звено счастья. Ощущения могут быть различны, даже противоположны, совершенно помимо категории приятного. Если бы ощущения не подлежали иной классификации, не могли бы быть разделены иначе, как на приятные и неприятные, тогда, конечно, закон контрастов обязывал бы нас переходить от приятных ощущений к неприятным, чтобы затем опять с большей сладостью вкушать удовольствие и т. д. На самом деле это не так. Ощущения бывают зрительные, слуховые, осязательные и т. д.; затем, в группе зрительных ощущений различимы ощущения света и темноты, красного, зеленого, синего и т. д. цветов, линий и плоскостей, прямых и кривых линий, геометрических тел и органических форм, и проч., и проч., и проч. Словом, тут имеется такое неисчерпаемое море контрастов, что нет никакой надобности прибегать к ощущениям неприятным для усиления сладости приятных. После глупого и бездарного произведения какого-нибудь жалкого писаки очень приятно читать творения гениального человека. Это так. Но и в среде гениев я могу найти достаточно разнообразия, чтобы не утруждать себя чтением глупостей и бездарностей. От скептического и мрачного Байрона я могу перейти к бурному идеализму молодого Шиллера, от него к спокойному реализму Гете и т. д. Временная разлука с другом может быть и приятна в своем результате — удвоенной радости свидания. Но если бы мой друг обладал такими сокровищами ума и сердца, которые, как стеклышки в калейдоскопе, давали бы с каждым поворотом все новые и все прекрасные комбинации, — так зачем нам разлучаться? Конечно, вечно нюхать розы надоест, но зачем же я стану контраста ради нюхать какую-нибудь гадость, когда могу найти достаточно разнообразия и в сфере приятных обонятельных ощущений, когда на земле рядом с розой цветут и благоухают фиалки, душистый горошек, гелиотропы и проч. А если и это все мне надоест, так я могу обратиться к богатому запасу ощущений зрительных, слуховых и т. д. Без сомнения, это *могу* очень условно. Я далеко не всегда могу разбирать и выбирать ощущения. Люди не выросли даже до идеи возможности непрерывного счастья и не могут себе представить счастье иначе, как с хлыстом и шпорами несчастья. А об осуществлении действительных условий счастья нечего, разумеется, и говорить. От них люди до сих пор, можно сказать, все удалялись. Но теперь у нас речь идет только о том, что физиологический закон

контрастов сам по себе не оправдывает толкования Пидерита (толкование это принадлежит не исключительно Пидериту, а очень многим), потому что теоретические контрасты могут быть найдены и в сфере приятных ощущений. Надо еще заметить, что Пидерит, как и все писавшие о законе контрастов (у нас, например, Ушинский — «Человек как предмет воспитания»), придает неправильное значение продолжительности и напряженности известного ощущения. В известных пределах продолжительности ощущения действительно придает высокую цену ощущению противоположному, но отнюдь нельзя сказать: чем продолжительнее и напряженнее, например, ощущение голода или темноты, тем приятнее ощущение насыщения или света; или: чем напряженнее и продолжительнее умственная работа, тем сильнее наслаждение успокоения; или: чем сильнее и продолжительнее горе, тем сильнее и сменяющая его радость. Все это справедливо только в известных, сравнительно узких пределах. Пока, например, голод не выходит из пределов аппетита (который, мимоходом сказать, составляет ощущение приятное), это, конечно, совершенно верно, но очень голодный человек просто не может есть. Точно так же выйти на яркий свет после долгого пребывания в темноте неприятно и тяжело — «глазам больно». Русские писатели, вообще имеющие несчастную привычку работать вечером и даже ночью, знают, что по окончании продолжительной и напряженной работы долго нет возможности успокоиться и заснуть. Человек, убитый горем, действительно убит для радости: нужно часто очень продолжительный промежуток времени, целые года, чтобы на лице его опять могла появиться улыбка радости. Романисты часто описывают, как высохшая земля жадно пьет благодатные капли дождя и т. д. Но кто хоть раз в жизни видел дожди после засухи или даже просто поливал цветы, тот знает, что это — одна из многочисленных несообразностей, известных под именем поэтических вольностей, потому что на деле бывает совсем наоборот: сухая земля сравнительно долго не впитывает в себя воду. Так и продолжительное напряжение нервов ощущения или движения в одном каком-нибудь направлении не только не делает их восприимчивее, а прямо притупляет.

Таким образом, говоря отвлеченно, есть полная возможность избежать действия основного психофизического закона. И для этого нет надобности в периодической смене приятных и неприятных ощущений, счастья и несчастья. Нужны только разнообразие и известная равномерность ощущений и, следовательно, разносторонность жизненной деятельности, возможное, так сказать, расширение нашего я. Конечный предел этому расширению во всякое данное время полагается границами человеческой природы, т. е. суммой сил и способностей

человека. Сумма эта не представляет, конечно, величины постоянной и может, в более или менее продолжительные сроки, прибывать и убывать. Например, некоторые натуралисты полагают, что есть насекомые, обладающие органами чувств, нам совершенно неизвестных. Если бы, чего, надо думать, никогда не случится, у человека явились эти теперь для нас даже безусловно немыслимые чувства, то изменилась бы и формула его жизни, перед ним развернулся бы целый новый мир наслаждения и деятельности, ни о размерах, ни о характере которого человек не может теперь иметь даже отдаленнейшего понятия. С другой стороны, мы знаем, что, например, евреи времен Библии и греки времен Гомера неспособны были воспринимать такие оттенки цветов, которые для нас вполне ясны, что они не знали, например, голубого цвета.* На этом пункте, значит, наше я со времен Библии и Гомера расширилось. Но, расширяясь в одном или нескольких отношениях, это я может в некоторых других отношениях суживаться, утрачивая соответственные силы и способности совсем или же сокращая их размеры. Вообще тут возможны самые сложные и запутанные комбинации. Нам предстоит выяснить некоторые из них и едва ли не важнейшие — именно комбинации, возникающие под давлением различных форм общественной жизни. Что касается другого великого фактора истории человечества — природы, то он будет для нас стоять на втором плане. Однако, во избежание недоразумений, нам здесь же придется сказать несколько слов о некоторых общих законах природы с точки зрения влияния их на судьбы личности. Мы будем очень кратки; подробное развитие нижеследующих мыслей читатель найдет в статьях: «Что такое прогресс?», «Теория Дарвина и общественная наука», «Орган, общество и неделимое» и проч.

Есть ли в природе какие-нибудь силы, влияющие на расширение или сужение формулы жизни неделимого, индивида? С тех пор как изменяемость видов стала общепризнанной истиной, этот вопрос решен утвердительно. Честь эта принадлежит дарвинизму. Для дарвинистов вся сумма органической жизни на земле во всем ее разнообразии произведена из немногих простейших форм совокупным действием двух физиологических деятелей: наследственности и приспособления. Первая представляет элемент консервативный, элемент инерции, второе — элемент прогрессивный, элемент движения. Борьба за существование и подбор родичей обуславливают собой вымирание индивидов слабых, менее приспособленных к окружающим условиям,

* Эта теория Гладстона—Гейгера ныне уже опровергнута, но я оставляю ссылку на нее в качестве наглядного примера, иллюстрации.

и победу индивидов сильных, приспособленных. Вот простейшие основания дарвинизма. Но они показывают только, что формула жизни индивида, его *я* может сильно изменяться вообще. Будет ли оно расширяться или суживаться, это — другой вопрос, на который дарвинисты дают ответ крайне сбивчивый и двусмысленный. Сам Дарвин приводит некоторые поразительные примеры победы слабых индивидов, как, например, слабокрылых островных насекомых, паразитов, лишенных органов зрения и движения, слепых пещерных животных и проч., которые побеждают своих более одаренных родичей именно благодаря слабости, слепоте, неподвижности. А между тем тот же Дарвин настаивает на том, что борьба за существование и подбор ведут к совершенствованию организмов, разумея под совершенствованием иногда приспособление, а иногда именно приращение сил и способностей индивида. Такое приращение, как результат дарвиновых принципов, во всяком случае, весьма проблематично. Путем борьбы, подбора и полезных приспособлений вид может терпеть изменения во всевозможных направлениях. Поэтому шансы для прямолинейного развития вперед, т. е. к приращению суммы сил и способностей неделимого, по теории вероятностей, не сильнее шансов для прямолинейного отступления назад, т. е. к убыли. Спрашивается: как же объяснить появление на земле крайне сложных организмов, далеко превосходящих, по количеству сил и способностей, простейшие исходные точки органической жизни? Дело в том, что в теории Дарвина следует различать две стороны: общую идею происхождения органической жизни из немногих простых форм и собственно Дарвину принадлежащее объяснение того пути, которым шло и идет развитие органического мира. Как ни остроумно это объяснение, как ни тонка и плодотворна работа Дарвина, но некоторые ученые полагают, что его гипотеза недостаточна. Они не отрицают не только изменяемости видов, но и специально дарвиновых принципов подбора приспособленных и борьбы за существование. Они ставят только рядом с ними особый принцип развития, в силу которого изменение видов имело бы место и при отсутствии подбора, полезных приспособлений и борьбы за существование. Этот закон развития давно уже признан в эмбриологии, но лишь очень немногими прилагается к объяснению происхождения видов. Он основывается на (предполагаемом) свойстве организованной материи принимать с течением времени все более и более сложное строение. В свойстве этом нет ничего мистического. Как магнитной стрелке свойственно обращаться всегда одним концом к северу, как в неорганической природе известным элементам свойственно группироваться только в определенные химические соединения и принимать только определенные

кристаллические формы, как, наконец, в клеточке атомы углерода, водорода, кислорода и азота обнаруживают стремление слагаться в более и более сложные и высшие соединения, так точно и самим клеточкам свойственно сходиться все в большем и большем числе и составлять все более сложные формы органической жизни. Усложнение это состоит в увеличении числа и разнообразия органов и в усилении *физиологического разделения труда*, т. е. в усилении обособления и приспособления органов к специальным отправлениям. Таким образом, закон развития неудержимо и постоянно толкает организованную материю вперед, к дальнейшему усложнению. Под его влиянием сумма сил и способностей неделимых постоянно растет. Дарвиновские же принципы подбора, борьбы и полезных приспособлений более или менее отклоняют жизнь от этого прямо прогрессивного пути в разные стороны. Они представляют собой влияние пертурбационные. Например, раз появившийся орган зрения никоим образом не мог бы исчезнуть, если бы на обладателя его влиял только закон развития. Закон этот, напротив, требует дальнейшего усложнения как органа зрения, так и других органов чувств. Но силы природы не действуют в одиночку: они сталкиваются, парализуют одна другую без всякого плана и цели. Животное загоняется ближайшими условиями жизни в пещеру или обрекается на паразитизм, и тут-то обнаруживается влияние начал борьбы, подбора и полезных приспособлений. Во взаимной борьбе за существование те из паразитов будут победителями, которые отличаются некоторой вялостью движений и слабостью зрения, потому что в условиях паразитизма конечности и глаза составляют только лишнее бремя. Вялость и слепота подхватываются подбором, и в результате получается полное приспособление — окончательная утрата органов движения и зрения. Но в общем счете, в целом, закон развития одерживает все-таки верх, чем и объясняется сложность и богатство не только органической жизни вообще, а и отдельных, индивидуальных ее представителей.

Хотя для меня далеко не безразлично, признает ли читатель закон развития или нет, но настаивать здесь на этом пункте я не могу. Читатель должен, во всяком случае, признать, что приспособление к условиям существования отнюдь не необходимо ведет за собой усовершенствование в смысле расширения индивидуального я, прироста суммы сил и способностей индивида, а следовательно, и роста его счастья. Приспособление ведет только к известному равновесию между индивидом и окружающими условиями, и если эти условия очень просты и однообразны, то приспособление может состоять в принижении организации. Сам Дарвин вынужден неоднократно утверждать это с полной определенностью. Спрашивается теперь: каковы результаты

приспособления человеческой личности к условиям общественной жизни? расширяют ли они наше я или суживают, увеличивают или уменьшают шансы нашего счастья? И да и нет — смотря по точке зрения. В принципе, без сомнения, общественная жизнь дарит нас целой массой наслаждений, которые совершенно немыслимы для человека одинокого, если бы такой был возможен. Как говорит поэт, разделенное горе — полгоря, разделенное счастье — двойное счастье. Нет надобности и говорить, как велико влияние жизни в обществе на развитие и усложнение нервной системы и как обогащает нашу духовную природу облегчаемая общественным состоянием возможность «сочувственного опыта», т. е. переживания личностью чужой жизни, присвоения себе добытых ею результатов. Я полагаю даже, что роль сочувственного опыта громадна и в деле приобретения человеком положительных знаний, на что, к сожалению, история науки не обращает до сих пор никакого внимания. Словом, в принципе расширение нашего личного я путем кооперации, общественной жизни, не подлежит никакому сомнению. Но принцип этот претерпевает весьма существенные изменения в применении к различным формам кооперации. Ныне в большой моде параллели и аналогии между обществом и неделимым. Как читателю известно, мы держимся очень невысокого мнения о всех этих упражнениях, в которых не знаешь, чему удивляться — отсутствию ли нравственного чутья или слабости мысли. Мы готовы, однако, признать эти аналогии, если они будут логически доведены до конца, потому что конец этот наилучше обнаруживает полнейшую несостоятельность субъективной стороны работы всех аналогистов, а в этой-то стороне и все дело. Например, все теоретики «общественного организма» настаивают на аналогии физиологического и экономического или общественного разделения труда. Аналогию эту они проводят до тошноты подробно, и следить за всей их эквилибристикой нам нет никакой надобности. Мы возьмем один только грубый и резкий пример, удобный по своей наглядности: образование сословий или, еще лучше, индийских каст аналогично обособлению тканей и органов в организме. Как в Индии общественное разделение труда породило касты браминов, воинов, простых граждан и рабов, так физиологическое разделение труда обособляет в организме различные органы, исполняющие только одну какую-нибудь функцию. Аналогия может идти дальше, проводя параллели между браминами и головой, воинами и руками и т. д. Аналогия выводится по степени способностей исследователя более или менее полная и остроумная, а в результате получается положение: Индия есть организм. Ну прекрасно, пусть будет организм — имя вещи не меняет — пусть аналогия вышла блестящая. Но идите же

далее в сопоставлении общественного и физиологического разделения труда, покажите их взаимные отношения, которых аналогия вовсе не касается. А взаимные отношения физиологического и экономического разделения труда таковы, что они взаимно исключаются, т. е. чем общественное разделение труда сильнее, тем физиологическое слабее, и обратно. Чем, собственно, в нашей аналогии сходны голова и брамины? Тем, что брамины в обществе, как мозг в организме, монополизируют процессы мышления, они более или менее, насколько то для человека возможно, заглушают в себе остальные отправления, а у других членов общества в то же время ослабляются функции мозга. Точно то же и с кшатриями, ваисиями, судрами. Ясно, что в каждом из представителей этих каст внутренняя физиологическая работа стала одностороннее, их индивидуальное я суживается именно потому, что общество стало разностороннее. Допустим же, что общество и личность, индивид, аналогичны и что даже развитие их управляется одним и тем же законом, который Спенсер называет законом перехода от однородного к разнородному (это, собственно говоря, и есть вышеупомянутый закон развития). Но очевидно, что с точки зрения этого закона нормальное развитие общества и нормальное развитие личности сталкиваются враждебно. Аналогисты этого не понимают. Они твердят свое: общество, подобно организму, дифференцируясь, распадаясь на несходные части, прогрессирует. Хорошо, пусть *общество прогрессирует*, но поймите, что *личность* при этом *регрессирует*, что если иметь в виду только эту сторону дела, то общество есть первый, ближайший и злейший враг человека, против которого он должен быть постоянно настороже. Общество самым процессом своего развития стремится подчинить и раздробить личность, оставить ей какое-нибудь одно специальное отправление, а остальные раздать другим, превратить ее из индивида в орган. Личность, повинаясь тому же закону развития, борется или, по крайней мере, должна бороться за свою индивидуальность, за самостоятельность и разносторонность своего я. Эта борьба, этот антагонизм не представляет ничего противоестественного, потому что он царит во всей природе. Мы недавно еще приводили мотивированное мнение об этом предмете первоклассного европейского ученого Геккеля: целое тем совершеннее, чем несовершеннее его части, и обратно.

Но как же связать эту враждебную личности тенденцию общества с тем несомненным фактом, что общественная жизнь расширяет и обогащает наше личное существование? Вопрос разрешается тем, что мы имеем здесь два встречных течения, из которых иногда одолевает одно, а иногда другое. Собственно говоря, благодетельная для развития личности сторона общественной жизни не исчезает совершенно

даже в кастовом устройстве, вообще представляющем едва ли не наиболее яркий случай порабощения личности обществом. Специалист умственной деятельности, брамин, вполне способен обогатить запас своих личных наслаждений сочувствием к наслаждениям всех подобных ему браминов. Точно так же благотельно в известных пределах дает себя знать сочувственный опыт как орудие познания. Но с другой стороны, устраняя себя от материальной и вообще практической деятельности, брамин непременно суживает сферу своей жизни. И круг его наблюдений становится уже, и возможность пережить жизнь людей, занятых другими задачами, утрачивается; наконец, круг доступных ему наслаждений более или менее ограничивается исключительно умственной деятельностью. Вообще по мере того, как принцип разделения труда осуществляется в обществе, по мере того, как процесс дифференцирования дробит общество на резко обособленные группы, имеющие свои собственные и другим недоступные цели и интересы — получается двоякий результат. С одной стороны, сочувственный опыт имеет более широкое и полное применение в среде каждого из обособившихся слоев общества, а с другой — для каждого из представителей известного слоя утрачивается возможность поставить себя в положение представителя другого слоя. А этим в корень подрывается благотельное значение общества. Мало того, что наслаждения представителей различных слоев замкнуты в более или менее узкие рамки: отравляет захватывает и то специальное наслаждение, которое, казалось бы, вполне обеспечено человеку его общественным положением. Мы видели, что наслаждение приобретения, наживы, предоставленное обстоятельствами времени и места в полное владение известных классов общества и уединенное от других наслаждений, целей и интересов, перестает быть наслаждением. Жажда его обращается в источник личного несчастья. Точно то же и со всеми другими наслаждениями, даже с наслаждением знания. Человек, выработавший себе особенную напряженность того или другого специального отправления и более или менее заглушивший в себе все остальные, естественным образом понимает и ценит только то, что тесно соприкасается с его специальным отправлением. Человек, весь, без остатка, отдавший жажде знания, не в состоянии правильно оценить, например, роль материального труда в обществе, он не в состоянии ее *познать*, а между тем он хочет *знать все*. Это внутреннее противоречие есть опять-таки источник личного несчастья, и для меня несколько не удивительно, что развитие немецкой метафизики завершилось философией отчаяния, пессимистическими системами Шопенгауэра и Гартмана, проповедующими одиночное или гуртовое самоубийство. Формула «я и не-я», несмотря на всю свою

законность в принципе, несмотря на все свое соответствие человеческой природе, непременно должна была в устах немецкой метафизики привести к такому результату. Я какого-нибудь Гегеля есть, собственно говоря, ничтожная дробь человеческого я. И эта-то дробь, этот-то жалкий орган общественного организма вздумал меряться и бороться с «не я», со вселенной! Он потерпел поражение на почве познания, как на наших глазах терпят его ежедневно люди наживы на почве производства, как потерпит его каждый, борющийся за разные частные цели, а не за свою индивидуальность, т. е. за расширение до возможных пределов своего личного существования. А эта задача сводится к борьбе с роковой тенденцией общества двигаться по типу органического развития.

Совершенно поэтому понятны те на первый взгляд поразительные факты современной европейской жизни, с которых мы начали свою беседу. Община и цех суть представители низших ступеней общественного развития, старых его моментов, когда дифференцирующее влияние общества было несравненно слабее, чем ныне, следовательно, слабее были и все пагубные для личности последствия развития общества. Отсюда — все обращения назад, в глубь прошлого, все упования на возможность применения его принципов к требованиям нашего времени. В какой мере эти упования основательны — мы увидим в свое время.

Вполне сознавая крайнюю беглость и неполноту предлагаемого введения, мы отсылаем читателя за разъяснениями и дополнениями к прежним нашим статьям, а равно и к последующим очеркам. Нам нужно было только напомнить кое-что читателю, чтобы выяснить ту точку зрения, с которой впоследствии будут подвергнуты анализу различные формы общественной жизни. Мы начнем с самой элементарной формы — с семьи.

II *. СЕМЬЯ

Не нами мир начался и не нами кончится. — К теории борьбы за индивидуальность. — Практические и идеальные типы. — Типы и степени развития. — Отсутствие семьи как исходная точка супружеских и родительских отношений. — Факты, характеризующие эти отношения в глубокой древности. — Теория любви Шопенгауэра. — Теория любви Геккеля. — Любовь с точки зрения борьбы за индивидуальность. — Миф Платона о происхождении половых различий.

* 1876, январь.